

М. Веллер

ОДИН НА ЛЬДИНЕ



Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В27

*Оформление обложки Александра Кудрявцева,
студия «FOLD & SPINE»*

Веллер, Михаил.

В27 Один на льдине / Михаил Веллер. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 384 с.

ISBN 978-5-17-114163-9

В новую книгу Михаила Веллера входит как издававшийся ранее «русский Мартин Иден» — роман о советском писателе «Мое дело», ставший внутрилитературным бестселлером, так и впервые публикующиеся произведения. Повесть «Смотрите, кто ушел» рассказывает о громкой славе первого советского «шестидесятника», кумира того поколения Анатолия Гладилина. Уникальный обзор мировой литературы — чем отличается написание шедевра от успеха и признания писателя — завершает сборник.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

© М. Веллер, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

МОЕ ДЕЛО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

До того, как.

1.

Полгода отец был на усовершенствовании в военной академии в Москве. Мать поехала с ним и устроилась там на временную работу. Перед новым назначением в дальний гарнизон они наслаждались столичной жизнью. Меня закинули к бабушке-дедушке на Украину, мамину родину.

О Каменец-Подольске написал Владимир Беляев известный когда-то роман «Старая крепость». Крепость была турецкая. Это все знали и никто не задумывался. Веками здесь правили турки, в екатерининские времена их выбили русские, но осознавалась непрерывная исконность своей земли.

А над береговой кручей город, а в городе парк, а в центре парка на постаменте — «Т-34». Мы победили.

Меня привезли из Забайкалья. Я был хил и прозрачен. Офицерский паек был сытен, но витаминов не включал. Мне было четыре года. Бабушка ужаснулась.

Дед был непрост. Дед был прям, сдержан и ироничен. Он походил на обедневшего шляхтича с раненой гордостью. К нему ходили советоваться. Светлые глаза деда щурились, светлые волосы разлетались под сквозняком из форточки. На Подоле намешано много кровей, и греческие коктейли непредсказуемы.

Бабушка происходила из приличной дореволюционной семьи с одесским уклоном в негоциацию. Юный студент-социалист пленил ее образованностью и высокими идеями. Она гордилась репутацией мужа и видела в дочери и внуке продолжение его мудрости.

Бабушка откармливала меня курочками в масле и бесконечно причитала, восторгаясь моей гениальностью по любому поводу. Все, что я мог сказать, придумать или сделать, вплоть до попроситься на горшок, было гениально. Меня демонстрировали гостям, разрываясь от счастья:

— О-о, гениальный ребенок!

Их не расстреляли, не повесили, не загнали в газовую камеру. Деда так и не разбомбили в его санитарном поезде, и после ранений он не стал калеккой. Бабка с мамой сумели уйти из уже оккупированного города: сплошной линии фронта в конце июня 41-го почти нигде не было; и не сгнули в пересылках эвакуации. И после войны нашли друг друга, и получили комнату в бараке при водолечебнице, и мама поступила в институт, и в обезмужившей стране вышла замуж за офицера, и родила сына.

— О-о, гениальный ребенок!

Лишь раз при мне, перебирая старые фотографии, мама смотрела на старый снимок их девятого класса, и я помню ее девчоночью гаснущую интонацию: «И все наши мальчишки ушли на фронт. И ни один не вернулся!..»

Конечно, умненький четырехлетний мальчик с подвешенным от природы язычком никаких философских выводов экзистенциального характера не строит. Он просто наслаждается ценностью своей личности в глазах окружающих и, таким образом, в глазах собственных сильно поднимается также. Утверждается в значимости любых своих слов и поступков. Самоуважение и самоуверенность ложатся фундаментом, быстро и прочно опускаясь из стремительного детского сознания в пожизненное подсознание.

Гости дружно восторгались. Я цвел и распускался, стараясь оправдать ожидания и похвалы. Я изрекал суждения

по любым предметам. Самодовольный развитый мальчик напрягал мозги и язык, обрабатывая предложенную ему приятную социальную роль.

Думать и говорить постепенно делалось наслаждением. Боже мой, какое это счастье и везение: хлебнуть неограниченного аванса в начале пути. Захваливайте детей, поощряйте их, восхищайтесь ими! — свинцовых мерзостей несправедливой жизни они хлебнут и без вас. Ах, как я старался.

— О-о, гениальный ребенок!

2.

Через полгода бабушкиной любви родители не узнали малолетнего гения. Не потому, что раньше я был идиот с тяжелым диагнозом и беспросветным будущим. А потому, что ежедневная курочка с маслицем из рук любящей бабушки переводит рахитика в весовую категорию начинающего борца сумо.

Я перестал быть прозрачен, а наоборот, теперь заслонял изрядную часть пейзажа. Чулочки у меня были протерты на ляжечках изнутри, потому что при ходьбе ляжечки терлись друг о друга. Над животиками у меня были грудки, а над грудками щечки. Бабушка умиленно и наставительно повертела меня напоказ.

Отец присвистнул. Мать покраснела.

— Мама! — изумленно и укоризненно сказала она бабушке.

— О-о, гениальный ребенок! — запела бабушка и закатила глаза.

Никто никогда не узнал, как дорого обошлась мне одесская диета.

Мать была очень красива. И очень самолюбива. Она обожала гулять со мной за ручку. Я был потрясающий ребенок. Тоненький, с огромными эмалевыми глазами и золотыми вьющимися кудрями. Маленький лорд Фаунтлерой. Теперь я стал симпатичный белявый поросе-

нок с глазками и складками, передвигавшийся вперевалку. При ней я выглядел смешно и оскорбительно, ее произведением нельзя было восхищаться.

Отец мечтал о маленьком мужчине. Четырехлетний возраст делал непонятым армейский способ сгонки веса и коррекции фигуры.

При этом я был говорлив, как соловей, и самовлюблен, как Нарцисс. В сущности, я был самодостаточен — при условии материального обеспечения и наличии слушателей.

Вот в такой своей сущности я и был сдан в нормальный гарнизонный детский сад посередине манчжурских степей.

В первую же минуту я был дразнен как «жиртрест» и «саломясокомбинат». Мне еще не было обидно — я еще не въехал. Через пять минут я получил первого пенделя. После завтрака меня впервые побил самый, как сказали бы сейчас, агрессивный член моей средней группы. Бил он не зло и не больно, а как бы для порядка — для сохранения социальной структуры: поддержать свой имидж драчуна и указать новенькому жиртресту его место парии. Добрые девочки сочувствовали мне, а более активные от природы мальчишки развлекались зрелищем.

Но я рос в офицерской семье! Жаловаться было нельзя! А давать сдачи было обязательно!

Насчет сдачи я собрался с духом дня через два. И не дал. Он был ловчее и быстрее. Пончикообразность лишила меня всякой подвижности.

Потом он разбил как-то мне нос, а это такой удар, от которого можно заплакать невольно, тут воспитательница перед обедом заинтересовалась моим видом, я не наябедничал, поскольку это невозможно, и травить меня вскоре перестали, и даже последним номером я быть перестал, нашлись мальчишки слабее и забитее меня, — но все-таки место мое было не в «лидирующей группе», а ближе к тому краю, где параша и дверь. И любой мог дать мне пенделя и крикнуть «жиртрест» — и безнаказанно убежать, если слабый, потому что догнать я не мог никого.

И в играх, требующих подвижности, проходил последним номером. А в футбол вообще не годился.

И ни одна с-сука мной не восхищалась! Это — жизнь?!

Ох я думал. Ох я и думал. Я думал обо всем. О справедливости. О мести и милосердии. О том, как устроиться в этой жизни, если провозглашенные правила не соблюдаются, а неписанные правила против тебя. О том, что почему же я не такой сильный, стройный и храбрый, как некоторые. Любимым и главным людям, маме с папой — пожаловаться невозможно: вот черт его знает почему, невозможно и все. Поговорить о жизни не с кем. От завтрашнего дня ждать ничего хорошего не приходится.

Я думал постоянно. Я думал, когда меня вели утром за руку в детский сад и вечером домой. Думал на прогулках, засунувшись куда-нибудь в щель за сарай. На мертвом часе, глядя в потолок. Воспитательницы были довольны. Они говорили родителям, что я очень спокойный и послушный ребенок и со мной никаких хлопот.

Во мне поселился комплекс неполноценности — он аж не помещался во мне, как корни баобаба. Я спокойно и обреченно знал, что я жиртрест, слабый, трусливый, неуклюжий, непривлекательный, вялый. Я возненавидел свое имя и стеснялся его — была на него дразнилка: «Михаил — коров доил / титька оборвалась / он хотел ее пришить / мамка заругалась».

Попасть в социальные аутсайдеры бывает полезно. Вот с тех пор я уже никогда не переставал думать. О человеческих отношениях, о справедливости, о достижимости счастья и его сути, и вообще об устройстве жизни. Вот так полвека спустя и понял, как благотворность страдания сказывается в напряженном постижении мира: дабы найти смысл в происходящем и отыскать разгадку отсюда и к желанному состоянию.

3.

Я всё помнил. Я жил внутри себя. Я повторял родителям сказанное мельком месяц назад соседями по доске («Дом Офицерского Состава»), и они переглядывались.

Гарнизонная жизнь в степи развлекает мало. Счастье выжить в войне и благоденствовать с семьей — не то что приедается: утрясается и не возбуждает душевных сил.

В маминой семье читали. Дедушка был местным остроумцем и книгочеем. Любимым предметом была литература. Мама читала сама и читала на ночь мне. Ее «круглый» аттестат я увидел потом, а медалей за школу в войну не давали.

Днями я ждал вечера и ходил с ума от любопытства. «Сто тысяч почему», «Какие бывают вещи», «Откуда стол пришел». Такие книжки нравились мне гораздо больше сказок. А стихи я просил прочитать еще раз. Родители не понимали, зачем. А я их запоминал. Я не знаю, зачем. А так. Для интереса. Что-то в этом было.

Потом, днями, я их повторял себе шепотом. Это давало ощущение причастности к чему-то значительному; правильному, весомому, достойному, взрослому. Я их проживал. Я в них проживал то, чего оказался лишен нормальным образом в играх с равными сверстниками. Я в них втекал, вжигался, вкладывался. Сейчас я мог бы сформулировать, что на всю жизнь впечатывал свой внутренний мир в эти матрицы.

Меня никогда не ставили на стул читать гостям. Я замыкался, мычал, убегал, орал: не хотелось. Открывать чужим свое — невозможно: это не развлечение.

Отец сколотил в полковой мастерской стеллаж. Эта некрашенная лестница высилась до потолка. Книги привозились из командировок, продавщице «Культмага» дарились подарки.

Комната метров десять, печку топить два раза в день, казенные кэчевские («Коммунально-эксплуатационная часть») железные койки и фанерный шкаф, на

общей кухне дровяная плита и трофейные немецкие керосинки офицеров, матерчатый абажур с толкучки и игрушки в ящичке из-под посылки. И это очень уютно и очень благоустроено: мы со славой победили в великой войне, мы лучшие в мире, и нет никаких забот. Это семья, это любовь, это мир и все в нем есть.

И в этом мире, увлекшись и проникшись, мама учила со мной стихи: настоящие и лучшие стихи для ребенка повзрослей своего возраста. Я запоминал строфу с одного раза и уже никогда не забывал с двух. Все эти «Баллады о голубях» и «Почты военные» я слышу в себе всю жизнь, если потрясти на дне головы. «Книги покрыла столетняя пыль, / червь переплету их ест. / Лучше послушайте новую быль: / сказку про новый Удрест».

Сама мама читала Ронсара, а в моем слухе чеканом по бронзе вызванивал узор мальчишеский романтизм.

4. Первое публичное выступление

Однако в детском саду нам тоже иногда — и вполне регулярно — воспитательница читала книжки. Это были нормальные детские книжки, вызывавшие у меня нормальное высокомерие и презрительное отношение своей, э-э, низкопробной общедоступностью.

И тут стал близиться некий очередной праздник. И к нему задумали устроить концерт для родителей. Участвуют все! — более или менее.

Для танцев у меня не было грации... Для пения — слуха. Для роли зайца или морковки я был слишком умен и одновременно застенчив и зажат. Зато я умел замечательно читать наизусть выданное воспитательницей на «часе чтения» стихотворение про цаплю, которая сует «чапу-лапу прямо в воду». Я презирал его за детскость и примитивность, и оттого все свое умение вкладывал в актерский обыгрыш текста.

На генеральной репетиции воспитательский коллектив был просто в восторге. Ну просто руками всплески-

вал. Ну я прямо пел эти стихи и был цаплей, камышом и лягушкой одновременно. Я был горд и счастлив. Мне жутко хотелось тоже участвовать в концерте. А тут — я был один из солистов!

Ну что. Настал день гнева, пришел момент истины. Родители сидели рядами на наших стульчиках, как на горшочках, только офицеры на нормальных в заднем ряду, и мой отец тоже.

Кулисы были из простынь. Меня слегка протолкнули меж них, и я вышел, и все это увидел. Их всех было много, очень много, они были чужие, какие-то очень мощные, вся эта многочисленная мощная чужая масса была внимательно нацелена на меня — это парализовало, это было страшно и непереносимо.

Они захлопали, и я стал терять сознание. Воспитательница решила меня поддержать, подсказать, я заплакал, попятился, заорал от страха и был уведен с жалостью и позором. За простыней зал шумел и смеялся. По другую сторону этого савана, исконно отделяющего художника от публики, трясся и всхлипывал я.

Позор был полный. За занавесом взревел баян и зазвенели детские голоса. Дома я продемонстрировал родителям номер во всем блеске своего умения. Я был нервный ребенок. Публика меня шокировала. Я ощущал свою ей чужеродность, но жажду успеха понял как истину, страстно, через не могу.

5. Ужас театра жизни

Я был нервный ребенок. Такой нервный, что когда приходило время ехать в отпуск на Запад — накануне у меня прыгала температура в 39°.

Родители чернели лицами. Единственный терапевт был в гарнизонном госпитале. Ближайший педиатр — в районной больнице. Они рассматривали анализы и рентгеновские снимки, шупали желёзки и слушали легкие — и разводили руками. Неясный диагноз особенно

тревожен... А дороги — неделя на поезде. Лайнеры еще не летали, авиация была относительная.

Лучшие доктора-практики на свете — это старые земские и армейские врачи, съевшие зубы и потерявшие волосы на всеобъемной низовой работе в глубинке, и не сделавшие карьеры по причине отсутствия амбиций и слабости к бабам и выпивке. Они плевали на трафареты.

В полку был такой вольнонаемный старичок, нюхнувший лазарету еще чуть не в русско-японскую.

Он заглянул мне под веки, постукал прыгнувшие колени и проследил, как розовеет на коже мраморный след от проведения ручкой зеркала.

— Нервный какой у вас мальчонка, — сказал он с каким-то игривым одобрением. — Прямо артист. Переживает все, да? Балуете? Истерики бывают? Вообще не плачет? Ну, ты, конечно, герой, но вы это зря, нельзя же все внутри держать, лучше уж выпороть иногда, но пусть порет. Что? Ничем не болен, езжайте спокойно, не будет у него утром никакой температуры. Боже мой, чему теперь учат, это обычный нервический припадок, впечатлительный мальчик переживает будущее путешествие. Вы что, Тургенева не читали, Толстого не читали?

В тот год отпуск отцу дали зимой, и мы поехали в родной Ленинград. Курьерский «Москва — Пекин», купейные билеты оплачиваются, настольные лампы под абажурами и пепельницы над диванами.

И вот любимого, первого и пока единственного внука ленинградская бабушка повела впервые в жизни в театр. Это был знаменитый театр марионеток Деммени, угол Садовой и Невского. Бабушка достала билеты во второй ряд середина и надела чернобурку и какой-то охрененный перстень. Она была жена профессора и полковника. Я был в матросочке и уже менее жиртрест — полным весом я их не опозорил.

Давали «Мальчик-с-пальчик». И чем-то эта хренотень вызвала у меня опасения с самого начала. Я сказочку-то помнил. Там людоед людей жрал в ночном лесу. Этот сюжет не показался мне развлекательным.

Я поделился опасениями с бабушкой, и она со странным легкомыслием успокоила, что все это куклы, маленькие, деревянные, и ничего страшного не будет.

Для начала в зале погас свет и стало темно. Мне сделалось не по себе.

Потом раздвинулся занавес — и ни фи́га там были не куклы!!! Там был здоровенный дядька и здоровенная тетка, и они сидели на старинной кухне, и освещение было мрачноватое, а разговаривали они какими-то натужными, напряженными, неестественными, чреватými неизвестно чем голосами. Они двигались и разговаривали так, эти два человека, как нормальные люди себя не ведут. В этом было что-то неестественное. Это вызывало непонимание и тревогу. Что-то в них было не так, ох не так!..

Я вцепился в бабушкину руку.

Тут появились очень симпатичные куклы на ниточках. Но голоса их тоже были... невеселые... необнадёживающие были голоса. Короче, веселья и радости эти голоса не сулили.

И свет-то был на сцене какой-то мрачный, угрожающий. А тут еще музыка зазвучала — ну просто страшно стало от этой музыки.

— А свет в зале зажгут? — прошептал я бабушке.

— Когда будет антракт.

— А скоро будет антракт? — надежда во мне как-то воспряла.

— Тебе разве не нравится?

— Нравится... — с упавшим сердцем ответил я.

Когда менялись картины, свет вообще гас, и это было вообще ужасно. Я пристроился к бабушке поплотнее. Я перед этим-то радовался, что пойду в театр! Я не мог подумать, что театр — это так... тоскливо и опасно: неинтересно и страшно, честно говоря, и не хочется нисколько, до конца бы досидеть.

Тут вспыхнул синим и серебряным ночной лес, и братья-марионетки пошли по нему, и шептались они тревожно, и ждали беды. Ну, и попали в какой-то замок,